



## Л. ШЕСТОВ

### В. В. Розанов

Я попытаюсь «оценить», насколько это возможно сделать в кратких словах, литературное наследие этого огромного писателя, вернее, этого неутомимого борца. Ибо Розанов, как все почти большие русские писатели, был прежде всего борцом. Его несравненное литературное дарование было в его руках только оружием для борьбы с вечным и страшным врагом, притом с таким врагом, с которым примирение, компромисс, даже временное перемирие, невозможны. Кто не с ним, тот против него. Кто не против него — тот с ним. Этого врага Розанов видел в христианстве. Или вернее: этого врага Розанов называл христианством.

Но, странным образом, Розанов, всегда так безудержно и страстно нападавший на христианство, сказал как-то про себя словами Федора Карамазова: «Хоть я и поросенок, но Бог меня любит». Как это ни грубо и ни цинично — Розанов в своих писаниях доходил до крайней грубости и циничности, и именно тогда, когда он бывал так груб и циничен, он более всего выявлял себя — как это ни грубо и ни цинично, в этих словах большая правда о Розанове. Правда, что он был «поросенком», но также правда, что Бог его любил. И еще, хоть он этого не сказал, в них скрыта другая правда: Розанов Бога любил, любил всем сердцем и всей душой так, как того требует первая заповедь. И, если не все меня обманывает, в этом разгадка его вражды к христианству. Он мог бы повторить тоже слова другого героя из «Братьев Карамазовых, Мити, обращенные к младшему брату: «Бога, Алеша, жалко». Я думаю, что для всякого, кто внимательно читал произведения Розанова, ясно: он напал на христианство потому, что хоть он был и поросенок, но чувствовал, что Бог его любил, чувствовал, что он Бога любит больше всего на свете и что ему «Бога жалко», жалко Бога, которого убивало христиан-

ство. Как так случилось, что для Розанова идея христианства связалась с идеей безбожия, на этот вопрос мы в сочинениях Розанова ответа не получим. Он сам, по-видимому, даже не давал себе вполне отчета, по крайней мере, никогда отчетливо не говорил о том, что для него христианство каким-то образом связано с идеей смерти Бога. Но уже его первое и в некотором смысле наиболее замечательное произведение, его комментарии к «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоевского служат достаточным речательством за то, что для Розанова быть христианином — значит отказаться от Бога<sup>1</sup>. Если бы у меня была под рукой эта его книга и, главное, если бы разбор или даже самое поверхностное изложение этой книги не требовало бы слишком много времени, то, конечно, нужно было бы и очень стоило бы остановиться на ней. Но я принужден быть кратким и не могу злоупотреблять вашим терпением и потому вместо того, чтобы говорить о розановском комментарии к «Великому Инквизитору», предложу всем прослушать страницы из гегелевской «Философии религии»<sup>2</sup>. Не пугайтесь — эта одна из тех редких страниц его сочинений, где он говорит не на гегелевском, а на общепонятном, человеческом языке. А вспомнил я о ней потому, что, по моему мнению, она объяснит нам не только Розанова, но и великого инквизитора Достоевского и вместе с тем подведет нас к одной из более трудных и наиболее болезненных проблем нашего времени. Вот она: «Может быть, что вера в религии начинается с чудесного: но сам Христос говорил против чудес, обличал иудеев, требовавших от Него чудес, и говорил ученикам своим: дух будет вести вас ко всей истине<sup>3</sup>. Вера, начинающаяся с таких внешних вещей, есть чисто формальная вера и ее место должно занять вера истинная. Если этого не будет, то людям придется предъявить требования верить в такие вещи, в которые они, на известной степени образования, верить уже не могут. Такого рода вера есть вера, имеющая своим содержанием конечное и случайное, т. е. не истинная вера, ибо истинная вера имеет не случайное содержание... Выпили на свадьбе в Кане гости больше или меньше вина, это совершенно безразлично; тоже чистый случай, что излечили кому-либо парализованную руку: миллионы людей ходят с парализованными руками и никто их не излечивает. Или в Ветхом Завете рассказывается, что при выходе из Египта на дверях еврейских домов были сделаны красные знаки, дабы Ангел Господен мог распознать их: будто бы Ангел и без этих знаков не мог распознать евреев? Такая вера не имеет никакого интереса для духа. Злейшие насмешки Вольтера направлены против такой веры. Он говорит, между прочим, что

лучше бы Бог поучил евреев о бессмертности души, чем учить их *aller à la selle* \* (Второз. 23, 13–15). Отхожие места составляют, таким образом, содержание веры». Так говорит Гегель, но так думает не Гегель, так думают «на известной степени образования» все люди, или, лучше сказать, почти все люди. Для них Кана Галилейская — предмет ужаса и отвращения, так же как и излечение паралитиков и воскрешение Лазаря. «Чудо, — продолжает Гегель, — есть только насилие над естественными связями явлений и потому насилие над духом». Тут, конечно, дозволительно усомниться в законности гегелевского «потому». Насилие над естественными связями явлений само по себе, а дух сам по себе. Иное дело сказать, что почти все люди на известной степени образования не могут верить, что кому бы то ни было, даже самому Богу, дано разрывать то, что мы привыкли называть естественными связями явлений. Но и то, только «почти» все люди. Паскаль, например, хотя и находился на той степени образования, о которой идет речь у Гегеля, не побоялся провозгласить: Бог Авраама, Исаака и Иакова — а не Бог философов<sup>4</sup>, и «верил» в такого Бога, который и смеет и может разрывать естественные связи явлений, превращать воду в вино, излечивать паралитиков, воскрешать мертвых. Наверное, Паскаль не испугался бы злейших сарказмов Вольтера и не согласился бы никоим образом с Гегелем, что чудо есть насилие над духом. Наоборот, он чувствовал всей душой, что невозможность разорвать естественную связь явлений, если бы ее удалось окончательно и навсегда установить, была бы насилием и величайшим насилием над духом. Но — то Паскаль, а Паскалей на земле не много. И Достоевский так же думал, как Паскаль — у нас еще будет речь впереди, — но и Достоевских нужно на земле днем с фонарем искать. Подавляющее же большинство «образованных людей» думают так, как Гегель. Для них «естественная связь явлений» — предел и человеческой, и божеской возможности. Оттого откровенный и честный Эпиктет<sup>5</sup>, которого чтит Паскаль, и утверждал, что начало философии есть сознание своей слабости и бессилия пред необходимостью. Гегель в качестве человека, поднявшегося на известную ступень образования, думал так же, как Эпиктет. Но в своей слабости и в своем бессилии он признаваться не хотел. Он предпочитал *piâ fraus* \*\* или то, что ему казалось благочестивым обманом — сарказмы Вольтера представлялись ему неотразимым аргументом, так же как

\* испражняться (*франц.*).

\*\* благочестивый обман (*лат.*).

и власть необходимости — последней, высшей властью на земле. Соответственно этому и Бог Авраама, Исаака и Иакова, которому повинуются и ветры и море, представлялся ему нелепой выдумкой, от которой нужно было прежде всего очистить христианство, или, как он говорит, вера в Бога, творящего чудеса, не представляет никакого интереса для духа. Гегель в одном был, повторяю, безусловно прав: образованные люди в библейского Бога не могут верить и не хотят. Но он в такой же мере заблуждался, утверждая, что христианство, что религия останется религией, если на место Бога Авраама, Исаака и Иакова поставить ту религию «духа», которую он предлагал. Можно, конечно, отречься от живого Бога, образованные люди во всех странах до Гегеля и без Гегеля от Бога отреклись, но, и говоря о Кане Галилейской, не могут не вспомнить злейших насмешек Вольтера, его *aller à la... etc.* Но христианство без Бога уже не есть христианство: этого Гегель не умел и не хотел понять. Но Розанов, когда ему «открылось, что христианский Бог так же слаб и немогуч перед лицом Необходимости, как Эпиктет или любой из смертных», уже не мог быть больше христианином. То «поклонение в духе и истине», которое оставил на долю «образованных» людей Гегель, Гегель предлагал, ссылаясь на Священное Писание, и уверял, что *super hanc petram*\*, без всякого Бога религия будет много лучше держаться, чем на Боге. Уже Достоевского гегелевский Бог, т. е. тот единственный Бог, который приемлем для образованного человека, приводил в бешенство. Все его творчество, как он сам неоднократно, от своего собственного имени и через героев своих многочисленных романов, не раз возвещал, имело своим источником ужас перед тем, что Бог «образованных людей» должен занять место Бога Св. Писания. Розанов был тоже «образованным человеком». Он, как все мы, прошел через гимназию, университет, был потом сам преподавателем истории в гимназии. Ему даже принадлежит огромное сочинение на чисто философскую тему о «понимании», которого, впрочем, никто никогда не читал, т. к. оно к тому времени, когда Розанов приобрел известность в России, стало библиографической редкостью. И, как образованный человек, был тоже глубоко убежден, что — хочешь, не хочешь — нужно лезть *super hanc petram*, которого так красноречиво описывал Гегель. Но когда он влез на гегелевский камень — зрелище, которое ему открылось, потрясло все его существо. Он, как до него Ницше, почувствовал, что Бог «умер», но, правда, — и этим он отлича-

---

\* на этом камне (лат.).

ется и от Ницше, которого он знал, вероятно, поверхностно, по плохим русским переводам, и от Достоевского, на котором он вырос и духовно сформировался, — он не заметил или не догадался, что это «мы сами» убили Бога, он уверовал, что Бог умер «естественной смертью» или, того больше, что естественное состояние Бога — это смерть. Шлёцер<sup>6\*</sup> в своей статье приводит замечательные слова Розанова, которые стоят того, чтобы их повторить еще раз: «Бог в гробу — какая ужасная тайна. Бог глядит на человека из своего гроба. Глаза верующих христиан блещут бесконечной радостью, в их взорах есть что-то небесное, последнее, светлое, что-то, что вам почти мешает дышать. На самом деле, это просто — гроб». И точно, Розанов прав: Гегель ведь считал себя христианином и Гегель был выразителем того, что он называл «духом времени» — а что такое значат приведенные выше слова его, как не «Бог в гробу», который не смеет разорвать естественную связь явлений, созданную не им и не для него, Бог, который не может даже обратить воду в вино — разве это не есть мертвый Бог, Бог в гробу, Бог, который либо уже умер, либо никогда не жил. «Естественная связь явлений» была для Розанова пределом, за который никогда не перелетала его мысль, той стеной, которую, по его глубокому убеждению, не дано пробить никакой человеческой силе. И в этом отношении он был правоверным гегелевцем, как и все мы, те, которые изучали Гегеля, и те, которые ни читали ни одной строчки его книг. Но в то время, как Гегель пред этой стеной преклонился и принял ее не только как неизбежное, но как нечто высшее и желанное, несущее последнее, окончательное успокоение человеку и потому вполне заменяющее абсолютную религию, или, как он говорил, выражающее собой духовный смысл христианства, Розанов такого христианства никогда не принимал, принять не мог и не хотел. Если в мире нет Того, про которого написано: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых», то Библия есть одна сплошная выдумка и ложь, и христианство не абсолютная религия, а отвратительное наваждение, от которого чем скорее проснешься, тем лучше. Надо выбирать: либо забыть христианство, либо осмелиться бороться с «гегелевской стеной», «естественной связью явлений». Розанов не мог решиться окончательно на первое, но никогда тоже не имел достаточно дерзновения, чтобы начать, по примеру Достоевского, открытую и явно безнадежную борьбу с

\* В. de Schloezer, «V. Rozanov», *La Nouvelle Revue Française*, N° 194, Paris, 1.11.1929.

теми «началами», которые обнажились пред человечеством как результат тысячелетней борьбы его самой напряженной мысли. Как «образованному» человеку верить в Кану Галилейскую, верить в Бога Авраама, Исаака и Иакова, по слову которого создан и мир и в мире живущий живой человек. Гегель «возвысился» — даже до того, считал позорным любить того Бога, которому поклонялись Авраам, Исаак и Иаков: Кана Галилейская ассоциировалась в его представлении с вольтеровским *aller à la...* Розанов не вдохновлялся вольтеровским глумлением над Св. Писанием — но повторяю, перед гегелевской «естественной связью явлений» он безвольно склонялся. И в этом объяснение всех его отчаянных нападков на христианство. Раз стена прежде Бога — всякая религия только дело рук человеческих, стало быть, держится на возмутительном обмане. И учитель Розанова, Достоевский, знал это. Но — и тут открывается нам то, что отделяло Достоевского от Розанова. Когда Достоевский убедился, что между человеком и Богом стоит стена, что «естественная связь явлений» отнимает у человека Бога, он почувствовал, что для него нет иного выхода. Дано ли человеку порвать естественную связь явлений, дано ли человеку пробить стену — он не умел сказать и не мог. Но он знал одно: до конца жизни он будет бороться со стеной, хотя бы пришлось колотиться об нее собственной головой, хотя бы все говорило за то, что с этой стеной справиться нам не дано. Приведу собственные слова Достоевского, которые являются как бы ответом на приведенные мною раньше выписки из гегелевской «Философии религии». Гегель говорит от имени всех — Достоевский от самого себя, Гегель опирается на разум, здравый смысл, историю и действительность, — Достоевскому не на что опереться. Гегель, конечно, одолел в «истории» — его слова все помнят и знают, о словах Достоевского все забыли, даже Розанов о них забыл. И все же, если бы вернуть Достоевского вновь к жизни, он бы не смирился пред своей неудачей и вновь начал бы свою ничего не обещающую борьбу с той «стеной», — так он называл «естественную связь явлений», — которую мы все искренно, вместе с Гегелем, считаем пределом человеческих и божеских возможностей и лицемерно называем великим словом Истина. Надо хоть изредка прислушаться к Достоевскому, раз мы слушаем и слышим Гегеля. «Перед стеной, — пишет он, — непосредственные люди пасуют. Для них стена не отвод, как, например, для нас, не предлог воротиться с дороги. Нет, они пасуют со всей искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое». И еще раз: «Продолжаю о людях с крепки-

ми нервами... Эти господа, при иных казусах, хотя и ревут, как бык, во все горло, хотя это им, положим, и приносит величайшую честь, но пред невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность — значит каменная стена. Какая каменная стена? Ну, конечно, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что ты от обезьяны произошел, так уж нечего морщиться, принимай, как есть... “Помилуйте, — закричат вам, — восставать нельзя, это дважды два — четыре. Природа вас не спрашивает: ей дела нет до ваших желаний, нравятся ли вам ее законы, или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена значит и есть стена и т. д. и т. д. ...” Господи Боже, да какое мне дело до закона природы и арифметики, когда мне почему-то эти законы и дважды два — четыре не нравятся. Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что она каменная стена и у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно потому, что она дважды два четыре. О, нелепость нелепостей. То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены, и не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться»<sup>7</sup>. Думаю, что слова Достоевского не нуждаются ни в комментариях, ни в объяснениях. Думаю тоже, что сам Достоевский тоже хорошо понимал, что со своей самодельной пращей «мерзит» ему не так-то легко выдержать единоборство с Голиафом-Гегелем, с ног до головы вооруженным всеми новейшими изобретениями наук и искусств. И все-таки он пошел и против Гегеля. Другого выхода у него не было: нужно было либо убить Бога, положить Бога в гроб, как сделал Розанов, либо, не загадывая вперед о том, что будет, ничего и ни на что не рассчитывая, начать великую и последнюю борьбу с теми невозможностями и стенами, в которых Гегель и все люди на известной степени образования видят последний источник и истины, и бытия. У Розанова не хватило того безудержного дерзновения, которое вдохновляло Достоевского в его творчестве. Можно ли за это упрекнуть Розанова? Кто из нас посмеет первый в него бросить камень за то, что он не решился отказаться от прочности, которую дает общение со всеми, и искал отдохновения и покоя на предложенной ему современной мыслью *super hanc petram*? Розанов любил Бога, Розанов искал Бога, но того горчичного зерна веры, за которое людям обетовано божественное «не будет для вас ничего

невозможного», он в себе не находил и правдиво об этом рассказал. И правдивый рассказ об умершем Боге больше даст людям, чем притворное исповедание ничего не говорящих душе истин. Недаром Лютер сказал: иной раз проклятия и богохульство слаще звучат в ушах Господа, чем самые торжественные аллилуйя. И нужно думать, что Розанов не ошибался, применяя к себе слова старика Карамазова. Хоть он и отрекался от Бога, хоть он и говорил страшные слова, но за эти слова и за эти отречения Бог, которому открыты бездны и тайны человеческой души, любил его.

